Шимоне Светлана

shimone@list.ru

89057834150

 ШОСТАКОВИЧ

 Монопьеса

Действующие лица:

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (ДДШ)

*Выходит человек с чемоданчиком (ДДШ). Идёт неуверенно, по стеночке. Он в костюме, в галстуке и в очках с толстыми стёклами. Вид чуть растерянный. Часто поправляет очки и поглаживает волосы, отчего они немного взъерошены.*

**1.**

**Увертюра**

ДДШ *(суетливо кланяется несколько раз в знак приветствия)*. Дмитдмитч… Шостакович. Это я вам звонил, товарищ гипнотизёр. Я не люблю, понимаете, незваных посетителей, отношусь к ним как-то даже с раздражением, и сам всегда предупреждаю о приходе... Присаживайтесь, пожалуйста. Как ваше здоровье?.. Я буду отвечать на любые вопросы, если сумею. Иногда вопросы бывают такие, что я, может быть, не сумею ответить… э-э… так вы тогда не обессудьте, понимаете, не обижайтесь на меня. *(Открывает чемоданчик, неловко перебирает бумаги.)* Вот тут разное, разные вырезки, записки, что меня, скажем, волнует. Но это, скорее, для *вашего* понимания ситуации. Я-то помню каждое слово. Но вы ведь просите подробностей для, так сказать, «работы» со мной… Кстати, что делать с моей памятью? Она у меня феноменальная, понимаете… не люблю про себя такие слова говорить, уж простите, уважаемый товарищ гипнотизёр, но если б вы знали, какая это трагедия – всё помнить. *(С трудом выуживает старую потрёпанную тетрадь.)* Вот забавный случай. Полюбуйтесь, детский дневник, вернее, то, что от него осталось. *(Листает.)* «12 января 1917 год». Это мне сколько, значит? Одиннадцать лет. Смотрите же, что вписано у ребёнка на эту дату… «Самоубийство». Как вам это нравится? То же мероприятие запланировано в марте, апреле и тому подобное, понимаете... Глупо, как чёрт знает что... *(Убирает тетрадь.)* Что вы говорите? Речь? Да, извините, немного заикаюсь, повторяюсь, есть у меня такой конфуз. Нервная система расшатана, ещё с 22-го года, со смертью папы. Остались мама, две сестры, я. Очень голодное время, очень. Пришлось два года халтурить тапёром в кинематографе за нищенскую плату. Кино? Терпеть не могу, терпеть не могу. Только в случае голодной смерти… Ну, с чего же мы с вами начнём? Мне прикажете сесть? Встать?

**2.**

**Первая** **часть** **(быстрая),** **allegro**

ДДШ. Что? Нужно припоминать радостные моменты? Это поможет? Я вас пригласил, понимаете… э-э… скорее, чтобы забыть мою несчастную жизнь… Но хорошее было, безусловно. Мама была прекрасной пианисткой, человеком очень внимательным, чутким. Если бы не она, я не стал бы, возможно, музыкантом… Ещё вспомнил случай. В 69-м я был снова приглашён в Ленинградскую Консерваторию. Так вот один аспирант принёс своё сочинение, Кантату про Целину. На Целину едет молодёжь и под стук колёс, понимаете, они поют вбыстромтемпе *(изображает)* «мама, мама, мама»... Ну, куда это годится? Разве можно в таком темпе произносить «мама»? Это же *такое* слово!.. Так вот, в 19-м году, мне было тринадцать, мама показала меня профессору Глазунову Алексан Константинычу, великий человек. Он, правда, ничего не понял в моих сочинениях, резюмировал: «Отвратительно!», но взял в Консерваторию в тринадцать лет. Мне даже назначили академический паёк! Жутко голодное время в Петрограде. Здание не отапливалось, приходилось сидеть в пальто, шапках, перчатках. У нас в классе несколько студентов упали в голодный обморок прямо на занятиях. Что уж говорить обо мне. Но учился я рьяно. Ходил до Консерватории исключительно пешком, потому как толкаться в давке, чтобы влезть в трамвай, просто не было никаких сил. Ещё как назло, в моём хилом теле врачи обнаружили туберкулёз. Мама собрала последние деньги и нас со старшей сестрой срочно отправила в Крым. И там случилось чудо… Чудо, что вылечился? Нет, нет… то есть, да, частично да. Но, понимаете… в санатории я встретил Таню! Мы оказались за одним столом. Я бешено влюбился. Сразу и наповал. Роскошные тёмные волосы, ангельские глаза, ладная фигурка. Сестра назвала её «странной девицей и кокеткой». Но, послушайте, на сестёр не угодишь. Таня приковывала взгляды всех молодых людей вокруг. И какого же было удивление, когда этот дивный ангел ответил взаимностью мне – робкому мальчишке. Начался наш роман! Я с упоеньем играл ей Листа, Малера, Чайковского. Она смотрела на мои худые, нервные пальцы, бегающие по клавишам, и как-то сказала: «Митя, мне кажется, я никогда не займу в вашем сердце первое место. Ваша главная любовь – музыка». Я растерялся: «Что? Танечка, ангел! Как ты можешь даже думать такое! Знаешь, как велика моя любовь? Знаешь?» И я со всей бушующей во мне страстью… сыграл ей Бетховена! Но вот лето кончилось, мы с сестрой вернулись в Петроград, а мой ангел – в Москву. И началась бурная переписка. Письма шли непрерывным потоком из Москвы в Петроград и обратно. Но не видеть Таню воочию было мучительно! Меня выворачивало от невозможности любоваться ею. Спасала только музыка, ежедневные классы фортепиано и композиции. Я кинулся в учёбу, как сумасшедший. Всё, что я сочинял, посвящал исключительно Танечке, Танечке, Танечке! Она писала: «Митя, это немного странно, мне казалось, ваши чувства сильны, но прошло уже долгих полтора года. Скоро ли мы соединимся?» Я недоумевал. Как? Она ещё сомневается в моих чувствах? О, мой нежный ангел! Моя любовь! Я бегу к тебе, бегу! Я вскочил, мигом бросился … к роялю и написал «Трио для фортепиано, скрипки и виолончели!» Хотелось кричать: «Это для тебя, Таня! Моя поэма до минор, Опус номер 8! Темы выливаются из единого хроматического мотива, имя которому – преданность Татьяне Гливенко! Неужели ты не слышишь? В нём и романтизм, и нежность, и сила и страсть. Одним словом, это… до минор!»… Но на этом я не остановился. Я задумал великое! Твёрдо решил идти до конца. И звуки начали приходить. Они вспыхивали в мозгу, как молнии, наполняя сознание, складываясь в парадоксальную гармонию. Нет, нет, никакого классического симфонизма. Нерв, тревожность, чёткость, а затем резкое изменение характера темы. И вот в голове уже звучат первые такты симфонии, разработка, вступление третьей части, кульминация. Я хватался за перо, едва успевая записывать оркестровку. А музыка всё приходила и приходила. Всё, кроме финала. Это не давало покоя, выматывало. Я перестал есть, перестал спать. И вот, наконец, измучив меня до предела, все части сложились. Готово. Перед выпускным экзаменом я еле держался на ногах от волнения и усталости. Но какая это получилась вещь! «Мы любим тебя, Таня!» – кричали скрипки, им хором вторили флейты и кларнеты, пели валторны, басили трубы. И только коварный рояль хохотал, издеваясь над моей любовью, моей… дурацкой, идиотской нерешительностью и мальчишеской робостью. Плотская любовь казалась мне тогда в высшей степени неприятной, отталкивающей, и я ничего не мог с собой поделать. Симфония же имела… как это говорили, «оглушительный успех». Публика приняла горячо, овации в Большом зале филармонии не смолкали, не смолкали. Я чуть не плакал от счастья. Но потом даже испугался. На поклон вызывали раз тридцать. Уже становилось мучительно, я не понимал, как быть? За роялем я сильный и смелый. Но теперь, глядя в бушующий овациями зал, не понимал, что они ещё хотят от меня? Чего ждут? Я стоял красный, как рак, и внутренне только молил, чтоб меня отпустили. Милая мама, она радовалась за своего ненаглядного сына, гордилась: всего двадцать лет, и такой успех!.. Через год симфонию исполняли по всему миру. Советские и зарубежные газеты пестрели восторгами: «Юный гений! Второй Моцарт!» Конечно, было приятно, но… скажем, очень непривычно. Разом хлынувшие со всех сторон дифирамбы дико смущали меня. Я стеснялся всего и всех. Какие-то девицы гонялись за мной, преследовали на улицах, караулили в подворотнях, цветочки, записочки, каждая желала меня приручить. Я злился, убегал и предпочитал прятаться от всех, чем быть на виду… А Таня… Таня ждала определённости. Но жуткая мысль о совместном проживании, даже с таким ангелом, как она, страшила ещё больше… И ангел пал. Натянутая струна нашей любви лопнула. Дуэт распался. И это после трёх лет переписки и пяти лет платонической любви! Ангел улетел к другому ангелу вить своё ангельское гнёздышко. Невероятно! Как это могло произойти? О, Таня, имя тебе – измена! Я ужасно страдал, даже заболел. Непостижимо, думал я, какими женщины могут быть жестокими и беспощадными! Навалилась жуткая депрессия. Я засыпал и просыпался только с одной мыслью: умереть, умереть. Пусть критики пишут свои восторженные отзывы не в прессе, а бросают мне в могилу. И цветы ликующей публики, букеты и корзины, обмотанные лентами, пусть не возвышаются горой на сцене, а покроют крышку моего гроба... Эх, Таня Гливенко. Ты ушла из моей жизни, а симфония нашей любви осталась. Её исполняют во многих уголках мира. И каждый раз, слыша её, сердце моё сжимается… А за окнами в это время шумел 29-й год. Депрессия постепенно уползла. Вообще, наступало интересное время. Вокруг столько удивительных людей – Мейерхольд, Маяковский, Зощенко, Немирович-Данченко… Что вы спросили? Мейерхольд? С Мейерхольдом впервые я встретился в 28-м. Всеволод Эмилич позвонил мне по телефону, сказал, что он в Ленинграде и хочет меня видеть. Слышал мою Первую симфонию, она ему не очень понравилась, но имя моё он запомнил и спросил, не хочу ли я работать в его театре в музыкальной части. Я? Мальчишка? И не хочу? Я сразу согласился! Переехал в Москву. Мейерхольд мне покровительствовал. Думаю, он рассуждал примерно так: «Вот молодой человек, которому нечего есть. Возьму-ка я его в свой театр». Он даже поселил меня в своей московской квартире на Новинском бульваре, где ещё проживала куча его многочисленных родственников, включая великую любовь Зинаиду Райх и её детей от Есенина. Райх – единственная, кто позволял себе орать на меня и называть на «ты». Мейерхольд же, несмотря на возраст, всегда был со мной почтителен, но не смел сделать ей замечание. Он очень её любил, очень. В его знаменитом театре я играл в оркестре или мне, например, поручалась роль гостя в спектакле, тогда я шёл и садился к роялю, если, скажем, кто-то из артистов должен был исполнять романс Глинки. Но через год я уволился. Требовалось слишком много технической работы и потом, я как бы не находил там свою нишу. Хотя Мейерхольд и просил писать музыку к его спектаклям. О, эти репетиции! Как он готовил свои новые постановки! Это было захватывающим, завораживающим зрелищем. Некоторые из его идей пустили во мне корни и пригодились в будущем. Например, он говорил: «В каждой работе необходимо стремиться к чему-то новому». Это стало для меня открытием! Нас не учили ничему подобному. В Консерватории было так: «Ах, вы сочиняете? Так и быть, продолжайте, но, разумеется, следуя традициям. Ничего сверх того». К сожалению, из наших с Мейерхольдом обширных планов почти ничего не свершилось. Разве что, кроме музыки, что я написал к его спектаклю «Клоп» по пьесе Маяковского, к которой я испытывал скорее антипатию. Но я подпадал под обаяние Мейерхольда, впрочем, как и все. Я курсировал между Ленинградом и Москвой. Невероятно насыщенная жизнь. Началась моя серьёзная работа над оперой «Нос» по Гоголю. Так же я задумал написать Первый концерт. Я искал, экспериментировал. Надо было восполнить, понимаете, пробел в советском репертуаре, в котором отсутствовали крупные концертные сочинения. Но! Необходимо это сделать ещё и с юмором. Да, я хотел отвоевать законное право на смех в «серьёзной» музыке. Когда слушатель громко смеётся в моём симфоническом концерте, меня это нисколько не смущает, напротив – радует! И вот, премьера моего Первого концерта! Финал от волнения я играл чрезвычайно быстро. Пальцы просто неслись по клавишам, темп был неимоверный!.. Теперь критики и педагоги говорят, что в таком темпе невозможно исполнять последнюю часть. Пианисту, понимаете, приходится делать ошибки, либо замедлять темп. Мне это не совсем понятно. Не надо замедлять темпа, не надо!.. В общем, в начале 30-х жизнь моя неслась, менялась, как и моё настроение. Время было суматошное, нервозное, но интересное. Я встретил Нину! Нину Варзар. Конечно, я при этом всё ещё любил Таню, но когда я увидел Нину… просто залюбовался ею! Это случилось за городом, на теннисном корте. Стройная, гибкая, золотовласая, в белом платьице, она великолепно играла и заразительно смеялась. Как красиво она смеялась. В смехе слышался и звон хрусталя, и переливы колокольчиков. Дивная музыка! Не влюбиться было невозможно. Нина невероятно меня привлекла. И профессия у неё оказалась удивительная – астрофизик. Она занималась космическими ливнями. Красиво, не правда ли? Я ничего в этом не смыслил, но звучало это тоже, как музыка. Нина сказала, улыбаясь: «В Ленинграде мы живём в бывшем особняке. По четвергам мама устраивает чаепитие. Приходите, Дмитрий». Я с удовольствием начал ходить к ним в гости. Тем более, там ещё оказались две сестры, тоже красавицы. Но вот Нинина мама сразу поставила на мне крест: «В материальном отношении Дмитрий безнадёжен, а значит, хорошего мужа из него не получится». Что ж, в те годы это было правдой. Но постепенно мои скромные профессиональные успехи набирали ход, волнения и страхи перед совместным проживанием улетучивались. И вот в апреле 32-го наш брак зарегистрирован. Беспокойная жизнь моя, обрела, наконец, уютный берег! Я сдался. Нина – такое блаженство и радость, что и словами не опишешь. И плевать мне хотелось на разные мелкие неурядицы житейского свойства. Я себя не узнавал! Неужели это я – тот нервозный, издёрганный молодой человек, который, как смерти, боялся супружества? Ведь оказалось просто замечательно – быть мужем такой идеальной жены, как моя Нина!.. Скоро я уже не мог без неё обойтись. На работе ей не удалось завершить ни один эксперимент. Я просто не дал этого сделать. Как только она уходила, я ей тут же звонил: «Как разогреть бульон? Где лежат столовые ножи? Когда ты вернёшься?» Увы, я абсолютно не приспособлен к бытовой стороне жизни. В конце концов, Нина забросила космические ливни и посвятила себя мне и дому. Жили мы очень счастливо, хотя и по-спартански. Даже однообразно. Вставали в 8, в 9 – завтрак, в 13.30 – обед, в 17 – чай, в 20 – ужин, в 22 – на боковую. И всё же я чувствовал себя превосходно, ибо есть у меня супруга. Я сидел за роялем и думал: «Какая же она у меня милая. Сплошной восторг во всех отношениях. Каждое её слово, жест, даже бурчание в желудке наполняют меня невыразимым блаженством. Золотые волосы, золотой характер, золотая Нина!» Правда, время от времени идиллия нарушалась, раздавался дверной звонок, - навязчивые поклонницы уже абсолютно не стеснялись и доставляли букеты прямо на дом. Тогда моя умница шла в прихожую, спокойно принимала из рук девиц цветы, которыми была и так завалена наша скромная квартирка, и наглухо закрывала двери перед их носом. Я же благополучно сидел в комнате, уткнувшись в рояль. Это было прекрасно. Готовилась новая опера! Я был воодушевлён, даже легкомыслен. Прокофьев хотел играть мой Первый концерт во Франции, меня звали выступать в Париже. Однако, было совсем не до этого. Жизнь бурлила здесь, бросая меня из стороны в сторону. Я был в совершенно растрёпанном состоянии. За мной гонялись режиссёры, просили писать музыку для спектаклей, кино. Я был весь издёрган, дёргали со всех сторон. Вообще, это был период предложений. Но я писал оперу «Леди Макбет Мценского уезда»! Эта новая работа невероятно увлекала и беспокоила меня. Дело в том, что на очерк Лескова я обратил довольно пристальное внимание благодаря знаменитому художнику Борису Кустодиеву, с которым познакомился ещё в 18-м году, и к которому духовно прирос. Его рисунки к «Леди Макбет» носили, прямо скажем, довольно… эротический характер. Такие «нескромные» наброски заворожили меня, просто зажгли моё воображение. Мне двадцать восемь, я по уши влюблённый в свою чудную, золотую жену, и опера «Леди Макбет Мценского уезда» посвящена именно Нине. Я хотел, понимаете, в музыкальном театре по-новому воссоздать тему любви, любви, не признающей преград, идущей даже на преступления. Я жаждал показать неистовство страсти! В голове начала звучать музыка. Она нарастала всё громче и громче. Нестройный хор резких, странных, даже кричащих звуков. Встревоженный, я просыпался среди ночи, вскакивал, хватал перо и лихорадочно записывал, записывал. А звуки всё нарастали и нарастали, в мозгу гремело, я не мог остановиться, я боялся прервать этот дикий фееричный оркестр. Я открывал крышку рояля, смотрел на клавиатуру и поражался: белые клавиши очаровывали своей наготой, они блестели и волновали, как гладкие бёдра любимой женщины. В чёрных же пряталась тайна, они манили, как манит тёмное лоно междуножья. Меня била дрожь, эротические картины будоражили воображенье, перед глазами вставала огромная кровать, мятые простыни, потные, натруженные страстью тела Катерины и Сергея. Я бредил, сходил с ума. Но нет, я не обвинял героиню, а, напротив, оправдывал её. В Катерине я изменил характер. Ведь ей приходится противостоять злу и насилию. А это зло есть в каждом человеке, и я его ненавижу. Тема зла у меня в музыке звучит острой пародией, сатирой, даже издёвкой. И только партия Катерины Измайловы, единственная, лишена и тени гротеска. Катерина – это портрет моей Нины, сильной, независимой и гордой. Я знал, знал, в музыке много запретной любви, неприкрытой эротики, она сразу бросается в глаза, вернее, в уши. Но по-другому выразить было нельзя, невозможно! Действие развивается стремительно. Музыка шокирует, завораживает, смешит до слёз. Но как по-другому?.. Музыканты, кажется, возненавидели мои оркестровки. Сочли их непривычными, неудобными: «Нас учили играть по канонам, товарищ композитор, а вы их нарушаете и усложняете!»… Я паниковал, злился и жутко нервничал перед премьерой. Не мог спать, разболелась голова. Как воспримет публика? Поймёт ли? Узнает ли всё, что я хотел сказать? Но, как только погас свет, раздались первые тревожные такты вступления, зал затих, и сердце моё замерло. В центре сцены возвышалась огромная кровать, точно такая, что рисовалась в моём мозгу. Почти всё действие разворачивалось на кровати. Так надо было, так надо. Музыканты, черти, играли великолепно, неистово, именно так, как необходимо, так, как играл бы я сам. Артисты, исполнявшие вокальные партии, полностью и со всей глубиной перевоплотились в своих героев. Впечатление от услышанного было очень сильным, очень. Я даже позабыл, что это – моё собственное детище… С нетерпением и трепетом ждал я, что же скажут критики? И вот, вскорости сразу в нескольких газетах появились первые рецензии. Они ошеломили! Они повергли меня в дикое смущение. Общее мнение было таковым: «В истории русского музыкального театра после «Пиковой дамы» не появлялось ещё произведения такого масштаба и глубины, как «Леди Макбет Мценского уезда», а партия Катерины – одна из наиболее сильных после «Аиды» Верди». Сергей Эйзенштейн, разбирая оперу, писал: «В музыке «биологическая» любовная линия проведена с предельной яркостью». Прокофьев же выразился жёстко: «Эта свинская музыка. Волны похоти так и ходят, так и ходят!»… Вот это да! Каков наглец! Не скрою, было обидно, но ведь точно!.. Оперу представили в Америке. Судя по высказываниям в прессе, она и там шла с большим успехом. Но некоторые ханжи, всё же, имели ко мне претензии: «Шостакович является, вне сомненья, наиглавнейшим композитором порнографической музыки во всей истории оперы». Как вам это нравится? Одно место в опере они даже назвали «порнофонией»! Для меня это было, по крайней мере, странно. Что они хотят этим сказать?! Товарищи иностранные критики, вы ругаете или одобряете?.. Друзья, которых я любил всей душой, и которых мы с Ниной часто принимали у себя, хором пытались меня утешить: «Митя, да пусть они говорят, что хотят! У нас твою «Леди Макбет» поставили сразу два театра – в Ленинграде Малый оперный, и в Москве – Музыкальный театр Немировича-Данченко! Когда такое было? Причём, ленинградцы обогнали москвичей на два дня, зато, вспомни, на московской премьере присутствовал сам Горький! Приём был и там, и здесь ошеломляющий. Публика приняла оперу! Ты же видел восторженные лица людей, их глаза, рукоплесканье!» Это меня немного успокаивало. Мы наполняли рюмки, дружно выпивали, смеялись, и страхи постепенно отступали. Ночью я прижимался к Нине, ощущал её тепло, вдыхал родной запах, и долго ещё лежал, глядя в темноту, прокручивая снова и снова события последних месяцев. Пришла даже шальная мысль, а не написать ли трилогию о русской женщине по произведениям классиков? Что-то ещё более провокационное и новаторское! Начало ведь уже положено! «Ай, да Митька! Ай да сукин сын!» - вертелись в голове перефразированные слова Алексан Сергеича. Радость разливалась по телу от предстоящих грандиозных планов. Всё-таки, удивительно, думал я, оперу одобряют и приветствуют все сразу, и справа и слева – и «реалисты» Немирович-Данченко и Алексей Толстой, и «авангардисты» Мейерхольд и Эйзенштейн!… Вскоре «Леди Макбет» поставили ещё и филиале Большого театра. А в сам*о*м Большом театре была премьера моего комедийного балета «Светлый ручей», который тоже шёл на «ура». Это было невероятно. Больше всего слушателей поражал, понимаете, мой возраст. Они ожидали увидеть в авторе «зрелого мужа», так сказать, нового Вагнера. А мне двадцать восемь. Получается, я не оправдываю их надежд? Или наоборот? Я никак не мог привыкнуть к своей, так скажем, «славе»… И до сих пор волнуюсь, когда эти, извините, дурацкие поклоны, или, не приведи господи, необходимо что-то, понимаете, говорить со сцены. Не люблю, не люблю. И тогда меня мучили очень противоречивые чувства. Конечно, временами я был счастлив, даже окрылён, но… страшно смущался и одновременно боялся, что всё исчезнет. К 1936-му году мои произведения исполнялись в Германии, в Англии, Швеции, Швейцарии, в Соединённых Штатах, в Аргентине…

**3.**

**Вторая** **часть** **(медленная)**

ДДШ. Я, собственно, вас пригласил, товарищ гипнотизёр… Я чувствую себя неважно, у меня весьма частые головные боли. Всё это пренеприятно, и очень меня беспокоит, а в силу расшатанности нервной системы беспокоит больше, чем нужно. Жизнь моя сейчас течёт более или менее спокойно, тихо. А вот по ночам, понимаете, по ночам меня мучает бессонница. Лежу, мысли бродят в сознании, их перебивают обрывки мелодий, ненаписанного, незаконченного, того, что уже никогда не создам. Я плачу. Слёзы текут обильные, горючие. Родные спят в другой комнате, и это обстоятельство не мешает мне предаваться слезам. Потом успокаиваюсь. Я ужасно постарел. Как-то очень сразу, за несколько месяцев. Я это заметил ещё в эвакуации, в Куйбышеве. Бреясь, я имею возможность смотреть на своё лицо. Оно опухло, под глазами огромные мешки. На некоторое время я даже перестал бриться, чтобы не видеть себя. Но этот бородатый, смотрящий на меня старик, еще больше пугал. Процесс старения идёт с невероятной быстротой. Я не всегда так выглядел. В тридцатые я даже смотрелся гораздо моложе своих лет, стройный, гибкий, сильный. Зубы были отличные. Зощенко, знаете, как говорил про меня? «Вам кажется, что Шостакович хрупкий, ломкий, непосредственный и чистый ребёнок. Всё это именно так, он – именно то, что вы думаете. Но плюс к тому, Шостакович жёсткий, едкий, деспотичный и не совсем добрый. Вот в таком сочетании надо его увидеть и тогда в какой-то мере сможете понять его музыку.» Как вам это? Мило, мило… За те годы, что я живу, мне встретилось столько людей, столько интересных людей. И вот я страшно, скажем, жалею, что больше не веду дневников, понимаете, воспоминаний или чего-нибудь. Если бы моё перо владело эпистолярным стилем, я бы написал точно о ком, так это о Михал Михалче Зощенко… *(Достаёт бутылку водки, пытается налить в рюмки, выходит неловко.)* Нервы, нервы... А теперь приходится несколько раз в месяц, понимаете, к зубному, в парикмахерскую. Терпеть не могу, терпеть не могу. *(Берёт рюмку.)* Пожелайте, чтобы я написал музыку. Я уже год не могу писать музыку. Очень устал. Работать не могу. Из-за этого страдаю, кажется, что больше никогда не смогу сочинить ни одной ноты. *(Выпивает.)* Кстати, скажу я вам, алкоголь – это лакмусовая бумажка, сразу выявляет затаившуюся болезнь. Что? Ну вот, когда почувствуете, что не получаете удовольствия от первых стопок водки, значит, дело дрянь. Я сейчас замечаю, что водка не доставляет радость. А это значит, инфаркт приближается. Всё страх, понимаете, после 36-го. Это ощущение животного страха опять вернулось. Почему? Если бы вы, скажем, помогли мне избавиться от него... Ведь, по сути, 36-ой год должен был перебить мне творческий хребет. *(Достаёт из чемоданчика газету, протягивает.)* Это вот газета «Правда», та знаменитая статья, вы, скорее всего, слышали «Сумбур вместо музыки». Я знаю наизусть каждое слово, изучал статью тщательно, по много раз. Мой дорогой Исаак Давыдович Гликман называет меня «мазохистом», ты, говорит, «духовный мазохист», понимаете. Но я вам должен сказать, у этого занятия была конструктивная цель. Так надо, так надо… Проверяйте. *(Цитирует.)* «Народные массы ждут хороших песен и хороших опер. Но некоторые театры, как достижение, преподносят культурной советской публике оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Услужливая критика превозносит оперу до небес. Молодой композитор выслушивает только восторженные комплименты. Слушателя же с первой минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный сумбурный поток звуков. Обрывки мелодий, зачатки музыкальной фразы тонут, исчезают в грохоте, скрежете и визге. И так в течение всей оперы. Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растёт из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, поэзии, педагогике, науке. Автору «Леди Макбет Мценского уезда» приходится заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать «страсть» своим героям. И всё это грубо, примитивно, вульгарно. Эта опера сумбурна и абсолютно аполитична. Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ищет в музыке советская аудитория. Он нарочно перепутал в своей музыке все звучания так, чтобы она дошла только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов…». *(Задыхается.)* Не могу больше, не могу, простите… Я тогда, в январе 36-го, был в Архангельске, на гастролях. Выскочил утром купить газету, понимаете, развернул, увидел… меня зашатало. Это был такой мощный удар в самое сердце. На улице мороз, я стою без пальто, двинуться не могу, только качаюсь, как метроном. В очереди смеются: «Что, браток, с утра уже набрался?» Не помню, как вернулся в гостиницу, как ехал в Ленинград. Следом вышла статья в «Правде» «Балетная фальшь» о нашей постановке «Светлый ручей». Опять «формализм, грубый натурализм, пошлость и издевательство над зрителями». Это уже был приговор. Я дико испугался, дико. Начались обсуждения в Союзе композиторов, долгие, позорные, гнусные. Старался не ходить, но друзей просил обязательно всё подробно записывать и передавать мне. Тогда же и принялся собирать все критические статьи и заметки обо мне. Собирал их в отдельную папку, страничка к страничке, изучал превнимательно, анализировал. Понимаете, я открывал партитуры Чайковского и искал там ответы на мои возможные технологические недочёты. Мне необходимо было докопаться до истины, в чём меня, на самом деле, обвиняют? Неужели я где-то сфальшивил, допустил какую-то грубую непростительную ошибку? Этот вопрос так прочно засел в голове, что стал наваждением, нерешаемой головоломкой. Я не понимал, что мне делать в этой ситуации? Ни о каких дальнейших сочинениях, конечно, речи быть не могло. Дома от меня требовалась поддержка, - Нина готовилась к родам. Но толку от меня было мало. С каждым днём всё отчётливее надвигалось ощущение неотвратимой, страшной катастрофы. Жизнь вокруг изменилась. Люди с подозрением смотрели друг на друга, не высказывались, плотно закрывали двери и шушукались по углам. Я бросился к моему влиятельному дорогому другу - к Тухачевскому. В тот год он был на пике своего положения и обладал колоссальной властью. Я всегда очень гордился дружбой с Михал Николаичем, понимаете, очень уважаемый мною человек. Он любил музыку, понимал её, посещал театры, филармонию, сам играл на скрипке. Всякий раз, приезжая в столицу, я заходил к нему. А Михал Николаич, бывая в Ленинграде, неизменно встречался со мной. И тут, в этом надвигающемся ужасе Тухачевский вступился за меня, не испугался. Но помогло ли это? Музыку мою официально запретили, перестали исполнять. Деньги заканчивались. Я сидел, как истукан, и не понимал, как нам теперь жить? Весной родилась Галя. А зимой наступил самый страшный год, 37-й. Массовые аресты, бесконечные процессы, смертные казни. Кругом – троцкисты, предатели, шпионы. Тошнота подступала к горлу, когда слышал: тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян, расстрелян. И вдруг в газетах я прочитал о расправе над Тухачевским! Потемнело в глазах... Тухачевский погиб! Если *они* добрались до такого человека, я понял, что в любую минуту могу последовать за ним. Людей забирали по ночам, достаточно было доноса в НКВД. Ползли такие страшные слухи о том, что *там* делают с людьми, уши приходилось затыкать. Однажды ночью, примерно в три, я проснулся, трамваи не ходят, тишина, и вдруг со стороны Петропавловской крепости - выстрелы, выстрелы пачками. С перерывами в десять, пятнадцать, двадцать минут, и опять стрельба, стрельба. Что это? Ученья? Ночью? И тут меня прошиб пот: сейчас, в эту минуту, там расстреливают людей! Ни в чём не виноватых. Ленинградцев. Я долго лежал, не шевелясь, как покойник. Я смотрел на крышку рояля, мне казалось, это крышка моего гроба, чёрного деревянного гроба. Там покоятся мои сочинения, моя музыка, и совсем скоро туда шагну я… В нашем доме забрали почти всех, оставалось несколько квартир. Дело шло к тому, что меня вот-вот объявят «врагом народа» и арестуют. Я собрал чемоданчик со сменой тёплого белья, мылом, расчёской и зубной щёткой. Спал, не раздеваясь. Я ждал ареста в любую ночь и в любую минуту. Иногда я долго сидел с чемоданом в подъезде у лифта: если они придут за мной, то лишь бы не в квартире, не в квартире, где жена и дочь. И вот чёрный день настал. Меня вызвали повесткой на допрос о заговоре Тухачевского. Это было в субботу. Я отвечал, что ничего не знаю, ничего, и мысленно прощался с Ниной, дочкой Галей, с мамой, с моими друзьями, со всем белым светом. Допрос отложили до понедельника. А когда я явился, оказалось, что моего следователя уже расстреляли. Это меня потрясло… Полтора года я жил в постоянном ожидании ареста. За это время я очень много пережил и передумал, пока не додумался до следующего: «Леди Макбет», при всех её больших недостатках, является, понимаете, для меня таким сочинением, которому я никак не могу перегрызть горло. Но мне кажется, что надо иметь мужество не только на убийство своих вещей, но и на их защиту. Так как второе было невозможно, то я ничего не предпринимал в этой области. Но непрерывное мучительное ожидание страшного финала творило какие-то метаморфозы. У меня появился нервный тик, я начал заикаться. Понимаете, я очень боялся говорить, боялся, что может проскочить какое-то слово или фраза. Мне кажется, я даже как-то обострённо трусил. Руки тряслись, особенно, правая. Как вы думаете, можно что-то сыграть трясущимися пальцами? Наверное, и Бах бы не смог… Но меня всё не забирали. Весной 37-го мне предложили место в Консерватории. Глоток свежего воздуха. Я начал несмело, с инструментовки, затем постепенно взялся преподавать композицию. Никогда, понимаете, не видел в себе способность к педагогике, но отнёсся к работе со всей ответственностью. И потом, преподавание, как и заказная музыка к пропагандистским фильмам, спасала нас от голода. Вернулась на работу и Нина. Но, понимаете, я всё время размышлял: почему они меня не уничтожили? И пришёл к выводу, что смерть, всё-таки, явилась за мной. Я умер. Умер прежний Митя Шостакович - смелый, озорной, дерзкий. Я вылез из могилы мертвецом. Я стал страшен. Превратился в шута, юродивого. Крышка гроба открылась и выпустила на волю уже другую, переродившуюся музыку. Звуки снова стали возникать в голове из ниоткуда. Но теперь эта была странная, суровая гармония. Как будто, всё то жуткое и мрачное, что я ощущал и видел вокруг, теперь поселилась в моём воспалённом мозгу. Невидимая сила вновь потянула меня к роялю. Я подчинялся этой воле, я боготворил её. Руки опускались на клавиши, и пальцы сами вели мелодию. Я вспоминал это ощущение, узнавал его родную душу: как будто сейчас, в этот момент «одалживаю» свои руки, и как будто «нечто» сотворяет ими композицию. Я играл и плакал. После я хватался за перо, и ноты градом сыпались на нотную бумагу. Писал, писал и не мог остановиться. Потом снова играл и снова записывал, забывая о времени и пространстве. Очень скоро была готова Пятая симфония - моя личная драма Шекспира. *(Заученно.)* «Это ответ советского художника на справедливую критику партии!», «Славься! Славься! Славься!!!» Десять минут ре мажора в последней части! Я показал им, показал! Ответил своей музыкой! Это стало моим завещанием. Мне тридцать один год, но я понимал, что эта симфония может стать моим последним произведением в жизни. Я так спешил. Я вложил в неё, понимаете, всю мою боль и страдание от происходящего вокруг… И дьявол услышал меня. Услышал то, что хотел услышать: перевоспитавшегося Шостаковича! Вслед за исполнением симфонии, в газетах появилось: «После диссонанса и сумбура, вот, наконец, ясный, простой классический язык, понятный публике, доступный массовому советскому слушателю!» Понимаете? Партии и правительству Пятая симфония пришлась по душе. На этот раз я был помилован, меня оставили в живых. Вытащили из могилы. Сначала зарыли заживо, а потом вытащили. Какие удивительные люди! Они заставили меня жить дальше. Даже вложили в зубы почётный пряник - Сталинскую премию. Они, понимаете, всё время то отпускали меня, то держали зубами за горло. Так кошка играет с мышкой, она не убивает её сразу, а сначала играет, мучает очень изощрённо и хитро. *(Зловеще.)* Но я тоже хитрый. Я буду сопротивляться. Моё оружие – музыка! Потому что я всего лишь жалкий музыкантишка. Я мышка. Мышка, мышка, мышка. Сижу и дрожу в своей норке, потому что хочу жить. Жить, чтобы сочинять. Просто хорошо и честно делать своё дело, писать музыку для людей, больше мне ничего не нужно... Публика, которая была на премьере Пятой симфонии в Ленинградской Консерватории, поняла, то, что я им хотел сказать. Люди плакали, люди узнали в этой музыке себя, своих близких, своё горе. Овации не смолкали в течение сорока минут. Это значило главное, - что я живой. Я - юродивый, шут, трус, который несмотря ни на что, написал все пятнадцать симфоний, три оперы, три балета, шесть Концертов, все Квартеты, все Еврейские песни, все Прелюдии и Фуги, повторил путь Баха, только в страшной атмосфере, когда каждое произведение – смерти подобно, ходил по «минному полю», играл во все их игры, боялся, творил и кричал: «Да здравствует коммунизм и Советская власть! Да здравствует товарищ Сталин, товарищ Молотов и товарищ Коганович!» Это было безумие. Театр абсурда. Ад… В 39-м арестовали Мейерхольда. К тому времени мы не общались. Его отречения с трибун от своих коллег не прощали, но понимали. Это – единственный способ выжить. Перед тем, как его театр был закрыт, на спектакле побывал Каганович. Как и можно было ожидать, ему не понравилось. Он ушёл с середины представления. Несчастный Мейерхольд, а тогда ему было уже за шестьдесят, выбежал за Кагановичем на улицу, побежал за его автомобилем. Говорят, он бежал, бежал, пока не упал. Вскоре он был арестован и расстрелян. Я поклялся друзьям, что никогда не вступлю в организацию, которая использует террор для достижения своих целей, я поклялся… И Седьмую симфонию, «Ленинградскую», я задумал ещё тогда, в 37-м. Нет, конечно, конечно, в самые первые дни войны. Но и в 37-м. Я так ненавидел эту систему, этот режим. Я писал, прятал, хранил, чтобы когда-нибудь рассказать о страшной, дикой сталинской системе. Тема «нашествия»… барабаны, нарастающие барабаны, помните? Па-па-па-пам, па-па-па-пам, па-па-па-пам, па-па-па-пам - идея страшного, ненавистного ига… эта тема хранилась. Уже в Пятой симфонии был её намёк. Этим я чётко определил свою позицию. Я закодировал это в своём высказывании. *(Приглушённо, озираясь.)* Для меня всё, что связано с партией большевиков – это разрушение, это убийство, смерть, это страшное потрясение для меня, для всей планеты, для всей цивилизации… Но когда началась война, я почувствовал, понял, что эта тема… именно сейчас она нужна, как обозначение другой, ещё более страшной тоталитарной силы, которая хочет уничтожить эту тоталитарную силу, понимаете? Я просился на фронт добровольцем, но отказали… моя близорукость. Тогда я продолжил работать, писать. Я всегда работаю довольно быстро. Я долго думаю, может, долго собираюсь, но работаю быстро. Писал я всё время у себя дома. Кроме того, значит, я выполнял обязанности пожарника, в Консерватории, в начале войны был в пожарной команде. Мы защищали Консерваторию от налётов вражеской авиации, дежурил там на крыше. В свободное от дежурства время я таскал, понимаете, с собой свою партитуру и, значит, оторваться от неё не мог. Бывает иногда так, понимаете, что пишешь, пишешь и думаешь, что ничего, можно и отложить как-то, понимаете. А тут вот как-то оторваться не мог и мм… всё время, значит, над ней работал. Первая часть была закончена 3го сентября, вторая – 17го, третья – 29го. Четвёртую я написал, в общем, несколько позднее, уже в Куйбышеве, в эвакуации. Но эта симфония была одна из моих таких наиболее… я про себя не люблю такие слова говорить, но… вы меня простите, но одна из более таких вдохновенных моих работ… В 43-м году она постоянно транслировалась по радио, и у нас и в Америке. *(Плачет.)* Я поклялся, что никогда не вступлю в их партию, никогда. А в 61-м… изменил своё мнение, я вступил в КПСС… Они меня шантажировали, они годами преследовали и гонялись за мной. Они прижали меня к стенке. Нервы мои не выдержали, не выдержали, и я сдался! Товарищ гипнотизёр, сделайте что-нибудь, умоляю. Боюсь их, я могу скатится до жалкого алкоголика. Я не выдерживаю, не выдерживаю… *(Успокаивается.)* Простите меня. Спасибо, что вы сегодня, как и в прошлый раз, вот так сразу нашли время прийти. *(Роется в чемоданчике.)* Рука не слушается. Играть проблематично. Но, если мне когда-нибудь отрубят обе руки, я буду всё равно писать музыку, держа перо в зубах. Помешать мне сочинять, слава богу, ничто не может, никакой шум. Этот процесс происходит только в моей голове. Восьмую симфонию я так и писал, не открывая пианино. Вот, скажем, когда я записываю, вот этому, знаете, лучше бы не мешать. Почерк становится ужасный, ужасный… *(Достаёт брошюрку.)* Хотел вам показать, очень важная для меня вещь. Как-то на платформе в Комарово ожидал электричку, в ларьке папиросы покупал и вот от нечего делать купил. Послушайте.

 «Пой же, дудочка простая, как легко нам петь вдвоём,

 Слышат горы и долины, как мы радостно поём.

 Только дудочка не плачь, прошлую забудь печаль.

 И пускай твои напевы мчаться в ласковую даль.

 Я в своём колхозе счастлив. Слышишь, жизнь моя полна.

 Веселее, веселее. Дудочка, ты петь должна».

Сборник. Из еврейской поэзии. Тут тексты, собранные ещё в конце 30-х на территории Белоруссии. Я, понимаете, выбрал восемь стихотворений и взялся, значит, писать к ним музыку. Это в 48-м-то году. Какая глупость, скажете вы. Было же очевидно, что в ближайшее время Еврейский Цикл не имеет никакого шанса на исполнение. Началась новая антиеврейская акция, расправлялись с евреями. Убили Михоэлса. Я знал его, знал его семью. Знаете, что я подумал тогда? «Я ему завидую»… Страшная война осталась позади, и власть снова взялась за свой народ. Чёрная крышка гроба вновь яростно отверзлась для меня. В феврале в «Правде» выходит знаменитая речь Жданова и постановление ЦК, направленное против меня, Прокофьева, Хачатуряна, Попова и Мясковского. Ужас снова висел в воздухе. Там, понимаете, развернулась целая кампания. В апреле на Съезде композиторов меня вызвали на трибуну, и я сказал: «Как бы мне ни было тяжело услышать осуждение моей музыки со стороны Центрального Комитета, я знаю, что партия права, что партия желает мне хорошего, и я должен искать и найти конкретные творческие пути, которые привели бы меня к советскому реалистическому народному искусству». Вот так я сказал. А что я должен был делать? Я снова стоял над своей могилой и не хотел умирать. А осенью меня лишили звания профессора Московской и Ленинградской Консерваторий, я был уволен «за низкий профессиональный уровень». Но что более всего удручало… публика, которая, как мне казалось, понимала мою музыку, я всегда видел большой отклик, это вселяло оптимизм… Теперь началась настоящая, понимаете, травля. Бросали камни в окна. «Музыка Шостаковича напичкана формализмом!» «Композитор, не вняв публике, страдает манией грандиоза!» «Вместо того, чтобы шагать вперёд вместе со всем советским народом, он делает шаг назад и даже в бок! Позор!» Я получил две анонимки, очень вульгарные. *(Показывает листки бумаги.)* Хотя я анонимки не читаю, но эти всё же прочёл, потому что эти короткие и напечатаны на машинке. *(Читает.)* «Продался жидам!» Я всегда стараюсь философски относиться к таким инцидентам, однако, не думал, что меня до такой степени это возмутит. Понимаете, эта тема… Перед войной у меня был ученик, музыкант удивительного дарования. Флейшман, Вениамин Флейшман. Его опера «Скрипка Родшильда» по Чехову, вещь, прямо скажем, неординарная. Удивляюсь, как начинающий композитор тонко постиг дух и главный смысл очень сложного чеховского рассказа. Оперу он не успел дописать. Я сам лично звонил, я просил советскую власть: «Не забирайте его на фронт, иначе советская музыка лишится гения». Веня погиб в первые дни войны. Клавир удалось сохранить, я сделал оркестровку. Произведение Флейшмана живо. Это важно, это важно… Так вот эта тема еврейского народа выражена у меня, скажем, не в одном произведении. Да, я писал о евреях. А что, они не люди? Да, сам я не еврей, у меня мама русская, а папа поляк, но у меня почти все друзья и коллеги - евреи, понимаете? Нет, вы не понимаете. В моём окружении всегда было много евреев, все талантливые и очень, очень хорошие люди. И в моей музыке есть еврейская тема. И в Тринадцатой симфонии и, конечно, в Восьмом квартете. Потому что я чувствую себя таким же гонимым, как этот несчастный народ… Так вот, в 48-м мои произведения опять запретили, обозвали «формализмом» и «вредительством», в очередной раз оставив мою семью совершенно без средств. А в 49-м мне позвонил Сталин и добрым таким отеческим голосом спросил, как я поживаю. Понимаете? Ничтожной прокажённой мышке, звонит сам Отец и интересуется её житьём-бытьём! Как вы думаете, что я почувствовал? Правильно, у мышки подкосились ножки и задрожал хвостик. Я стоял и отчаянно пытался сообразить, что бы такое ответить, чтобы за мной не пришли сразу, но, понимаете, придумать, ничего не мог. Всё же собрался с духом и пропищал: «Я совершенно и бесповоротно исправился, и сейчас пишу только такие мелодии, которые сможет запомнить советский народ. Только такие. Никаких других». «Это хорошо, - сказал Сталин, - что вы проявляете сознательность, в отличие от товарища Прокофьева. Мы в вас не ошиблись». Я замер. Думаю, ага, что это значит? Значит, что завтра унесут? Или, поднесут, и я научился понимать их звериный язык? А Сталин продолжает: «Как вы себя чувствуете?» Я говорю: «Хорошо, хорошо, чувствую себя хорошо, особенно после справедливой критики партии». А потом возьми, да ляпни с проклятого мышиного страху: «Правда, у меня сейчас… живо-от болит». Сталин помолчал и ответил уже совсем по-родственному: «Так мы вас вылечим!» И мне почудилось, что я вижу, как шевелятся его кошачьи усища. Я даже стал заикаться: «Нет, нет, нет-нет-нет, товарищ Сталин, я уже выздоровел, то есть, я, я, я совершенно выздоровел, я… полностью здоров. И работаю сейчас над ораторией». А Сталин: «Оратория? Это хорошо. Подходящий музыкальный жанр для советского народа. Когда ваша оратория будет готова, позвоните мне. Поскрёбышев соединит». И он положил трубку... Вот они какие – великие Отцы, Вожди и Тираны - покровители искусства. Я пошёл к роялю и написал им ораторию «Песнь о лесах» на стихи Долматовского.

 Победой кончилась война,

 Вздохнула радостно страна.

 Пришла победная весна.

 Салют над Родиной расцвёл.

 В Кремле зарёй блеснуло утро.

 Великий вождь в раздумье мудром

 К огромной карте подошёл…

 Снимает красные флажки,

 Войною опалённые,

 И ставит новые флажки,

 Как цвет лесов, зелёные…

Да, я вот, понимаете, написал музыку к этому… *(Суетливо поправляет очки.)* Я написал симфонию Октябрю, симфонию памяти Ленина и другое. Этого не отнимешь... Я пытаюсь самокритично оценивать каждое моё сочинение, но всё же, за некоторым исключением, я люблю их. Иначе, по-моему, нельзя сочинять музыку… *(Смотрит растерянно.)* Я ощущаю себя очень одиноким, особенно после смерти Нины, в 54-м. В 55-м не стало мамы. Дети выросли. Дикое одиночество и тоска. Когда не доверяешь никому вокруг. Западу я тоже не доверял. Чаще всего глупые вопросы мне задавали, когда я выезжал за границу. Журналисты хотели, чтоб я «смело» отвечал на любой их дурацкий вопрос. Им было наплевать на то, что я поставлю под удар свою жизнь. Они кричали мне: «Шости! Шости!» Даже не трудились выговорить моё имя, а требовали от меня откровений. Возмутительно, возмутительно. Пусть поэты делятся с публикой откровенными воспоминаниями. Как-то мой друг Соллертинский сказал, что в русском языке нет рифмы к слову «правда». Не знаю. Может быть. Я не поэт.

**4.**

**Оживлённое** **скерцо** **(шутка)**

ДДШ… Через полгода меня вызывает к себе Молотов и говорит: «Отправляйтесь-ка вы в Нью-Йорк в составе советской делегации на Всеамериканскую конференцию в защиту мира». Я опешил. Это что, новая шутка? Очередная порция сыра в мышеловке? Я отказался, отказался! Звонит Сталин: «Товарищ Шостакович, почему вы отказываетесь ехать на конференцию?» Я говорю: «Товарищ Сталин, я не могу ехать в Америку, моя музыка под запретом уже больше года, меня не играют. Что я буду отвечать в Америке, когда они спросят об этом?» А он опять отеческим тоном: «Как это не играют? Мы такого распоряжения не давали. Придётся товарищей из Главреперткома поправить». И что вы думаете? Меня быстренько восстановили во всех званиях, прикрепили к Кремлёвской больнице, сшили синее пальто, как и другим членам делегации, чтобы мы не потерялись на широких просторах дикого Запада, и дружно всех отправили в Америку. Я до сих пор с содроганием вспоминаю эту первую поездку в США. *(Показывает американскую газету с фотографией.)* Видите? Мне говорят: «Наверное, это была интересная поездка? На фото вы улыбаетесь». Хотите правду? Это улыбка смертника. Я отвечал на идиотские вопросы журналистов, а сам думал, вернусь, и мне конец. Сталин любил так американцев за нос водить. Вот вам пример. Как раз в то время, в 49-м, по приказу Сталина арестовали еврейского поэта Ицика Фефера. А в Москву приехал Поль Робсон, американский певец. И он возьми да вспомни, что был у него здесь такой друг Ицик. Где же Ицик? Сталин поразмыслил и решил, будет тебе Ицик. И вот Робсону сообщают, что Фефер приглашает его отужинать в роскошном ресторане. Робсон приезжает, понимаете, и за накрытым столом, действительно, сидит его еврейский товарищ. Только почему-то худой и бледный. Робсон хорошо поел, выпил, друга заодно увидел и довольный благополучно отбыл к себе в Америку. А Ицика Фефера после ужина доставили обратно в тюрьму, где вскорости с ним было покончено… Не переношу, понимаете, я этот их прославленный «гуманизм» с того берега. Мальро, Фейхтвангер, Шоу, Ромен Роллан. Бернард Шоу сказал, когда вернулся из Советского Союза: «Вы меня не испугаете словом «диктатор». Голод в России? Чепуха. Нигде меня так хорошо не кормили, как в Москве!» А в это время несколько миллионов крестьян умирало от голода. Все восхищаются Шоу, какой он смелый да остроумный. А у меня другое мнение на этот счёт. Хотя меня и заставили в своё время отправить Шоу партитуру Седьмой симфонии, как прославленному гуманисту. Вот и американцы во мне, говорят, разочаровались вместе с гуманистами и сторонниками чего-то или, наоборот, борцами против чего-то. Им не терпелось узнать, как я отношусь к знаменитой речи Жданова, тому, что меня назвали одним из опаснейших элементов советской музыки. Как я отношусь? Вы серьёзно? Это всё равно, что спросить человека: «Как ты относишься к тому, что тебе наплевали в лицо?» Я поднялся на их американскую трибуну, достал бумажку, которую мне вручили в самолёте и прочитал, что полностью солидарен со взглядами, изложенными в советских газетах. Так же касательно и обвинений в адрес западной музыки, в частности в адрес Стравинского. Ах ты! Американцы были так разочарованы, так разочарованы! Знаете, как они окрестили меня? «Незаменимый рупор советской пропаганды», «Меняет линию поведения, согласно линии партии», «Затравленный пессимист со сломанной психикой», «Носимая Шостаковичем маска распятого страдальца нисколько не мешает ему делать блестящую карьеру по всем правилам советского общества», «Композитор Шостакович – приспособленец. Он делает как раз то, что от него хотят». Но разве могут понять сытые и свободные люди, что за этим кроется? Сколько страданий. Сколько слёз тайных. Сколько мыслей, бессонных ночей, страха – они этого не понимают. Нет, ни в какую дружбу с гуманистами я не верю. Никто из них ничего хорошего лично мне или моим друзьям не сделал. И я не признаю за ними права задавать мне вопросы и осуждать меня. За моими плечами – горький опыт моей несчастной жизни и страшные судьбы моих современников. Я боюсь. Привык бояться. Но, понимаете, иногда приходит мысль: а написал бы я свои сочинения, если бы жил в Америке?

**5.**

**Финал**

*Звонит телефон.*

ДДШ. Прошу простить… совсем забыл. *(Подходит к телефону, берёт трубку.)* Слушаю вас! Да, да, дорогой, просто хотел, понимаете... Открыли? Цифра 65 во второй части. У валторн имеется нота соль, она должна быть как-то, понимаете, экспрессивнее, как-то немножечко вот я их не слышу. Дальше. В каденции вы немножечко как-то, понимаете, э-э… в раз, два, три, четыре… в пятом такте… вы, понимаете, немножко шестнадцатые ускоряете. Я бы это так потянул, я бы медленнее играл.Дальше всё было хорошо, хорошо. Ну, будьте здоровы, дорогой! *(Вешает трубку.)* Прошу прощения. Что вы говорите? 62-й?62-й год был довольно хорошим для меня. Кто-то даже скажет «удачным». Я купил квартиру в центре Москвы, недалеко от Консерватории. И женился. В третий и в последний раз. Готовился к операции, врачи всё ещё пытались вылечить мне руку. Пребывание в Кремлёвской больнице меня не веселило, особенно, в медовый месяц. Ирина Антоновна во всём очень хороша. У неё, понимаете, есть лишь одно отрицательное качество – ей двадцать семь лет. Этой прекрасной женщине повезло со мной меньше всех. Я достался ей уже старым и тяжело больным. «Ирина, - сказал я, - ты должна серьёзно подумать, ведь это до конца». В 74-м я писал Вокальную сюиту «Сонеты» на божественные стихи Микеланджело. Это последнее, что я написал. Спешил, работа шла очень стремительно, хотелось успеть. Это исповедь. Посвящение Ирине.

 «Нет радостней весёлого занятья:

 По злату кос цветам наперебой

 Соприкасаться с милой головой

 И льнуть лобзаньем всюду без изъятия!

 И сколько наслаждения для платья

 Сжимать ей стан и ниспадать волной,

 И как отрадно сетке золотой

 Её ланиты заключать в объятья!

 Ещё нежней нарядной ленты вязь,

 Блестя узорной вышивкой своею,

 Смыкается вкруг персей молодых.

 А чистый пояс, ласково виясь,

 Как будто шепчет: «не расстанусь с нею…»

 О, сколько дела здесь для рук моих!»

Это успел, а многие вещи так и остались незаконченными. Жаль, жаль. Я, несомненно, зажился и очень во многом разочаровался. Разочаровался и в себе. В музыке я не сфальшивил ни одной нотой. В жизни пришлось фальшивить. Но не в музыке. *(Складывает бумаги в чемоданчик.)* В Куйбышеве, в эвакуации, я впервые тогда пригласил гипнотизёра. Взял несколько сеансов. Кажется, польза некоторая была... А сейчас… После гриппа у меня образовался «очажок» в левом лёгком. Из-за «очажка» я не покидаю уже долгое время домашний очаг, простите за каламбур. Скучаю и кашляю. Таким образом протекает моя жизнь. Извините, что и вас приходится отрывать от дел и приглашать ехать сюда. Вот мы с вами, товарищ гипнотизёр, работаем столько времени, не хочу вас, ни в коем случае, обидеть, простите бога ради, спокойствие после ваших сеансов, несомненно, наступает, наступает. Такое, скажем, временное облегчение. Но, понимаете, у меня внутри постоянная эта мучительная тревога и тоска, как не проходящая зубная боль… Вы ух*о*дите домой, скажем, а я вот вижу этот Орден Трудового Красного Знамени, 40-й год… *(показывает)* три Ордена Ленина, 46-й год, 56-й, 66-й, Орден Октябрьской Революции, Орден Героя Социалистического Труда, Орден Дружбы народов, пять сталинских премий, многочисленные международные награды, звания… и партийный билет. Кто-то обвинит меня в этом. Но... Вы слышали мой Восьмой квартет? Я написал его за три дня. Написал, так скажем, идейно-порочный квартет. Если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто-нибудь напишет произведение, посвящённое моей памяти. Поэтому, я сам решил написать таковое. Квартет очень трагический. Основная тема квартета – D, Es, C, H, то есть, понимаете, мои инициалы. Сколько я слёз вылил, сочиняя его… Но и здесь *они* вмешались.Запретили, заставили изменить посвящение. Теперь он называется «Памяти жертв фашизма и войны». Но там моя подпись, там всё про меня. Когда квартет исполняли, я сидел в зале, Ростропович играл свою партию, я не смог сдержать слёз. Это очень, понимаете, личное произведение... Уверен, когда я помру, эта «скорбная» весть скорее распространится на Западе, чем здесь. Газета «Правда», скажем, опубликует малюсенькую заметку дня через три, да и то, странице на третьей. На первой разместится, скажем, информация о жатве, о достижениях шахтёров, о передаче комбайна заслуженному механизатору. Почему бы нет? А возможно напечатают официальный некролог: «Скончался композитор Шостакович, депутат Верховного Совета СССР, Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, общественный и государственный деятель, гражданин, посвятивший свою жизнь развитию советской музыки, утверждая идеалы социалистического гуманизма и интернационализма…» Сумасшедший дом. Вы простите, что я вот, живой, а читаю вам свой некролог. Это не просто страх, наверное, это уже паранойя. Нервы, нервы... Они же – струны, звуки, ноты. Музыка. Кто хочет услышать – услышит. В ней всё сказано. Когда я думаю о своей жизни, то понимаю, что был трусом. К сожалению, был трусом. Но если бы вы видели в жизни всё то, что видел я, вы бы тоже стали трусом… Кому какое дело, как мы прожили. Как сумели, так и прожили…

 КОНЕЦ

Время написания – октябрь/ноябрь 2021г

shimone@list.ru

89057834150